



Глава 1

Поезд дает гудок и трогается. Из окна высовывается мальчишка, смотрит на мужчину и женщину, машущих ему с перрона. Мужчина машет одной рукой, мелко и скромно, женщина — двумя руками и огромным красным платком. Мужчина — мой отец, женщина — Габриэла, Габи. На нем полицейская форма, потому что он полицейский, на ней — черное платье, потому что черное стройнит. Продольные полоски тоже стройнят. «А больше всего, — смеется обычно Габи, — стройнит, если встать возле кого-нибудь, кто еще толще меня, но такого поди найди!»

Мальчишка в окне поезда, удаляющийся, не отрывающий от них взгляда, точно видит в последний раз, — это я. Они остались теперь одни на все выходные — вот о чем я думаю. Все кончено.

Эти мысли не дают мне покоя, я пытаюсь выглянуть в окно, высовываюсь из него все сильнее. Вот рот у отца начинает кривиться, на лице — та гримаса, которую Габи зовет «последним предупреждением». Впрочем, мне-то что. Если так обо мне печется, не отправлял бы меня на два дня в Хайфу — да еще к кому.

Проводник на перроне громко свистит и машет изо всех сил, чтобы я убрал голову. С ума сойти, как эти люди в форме и со свистками всегда умудряются углядеть именно меня — даже в битком набитом поезде. Так я

и послушался. Нет уж, пусть и Габи, и отец посмотрят на меня в последний раз. Пусть запомнят.

Поезд все еще едет вдоль станции — и понемногу на него накатывают волны плотного горячего воздуха, пахнущего дизельным топливом. В голове появляются новые мысли: о путешествии, о каникулах... Я еду в поезде! Один! Я подставляю лицо ласковому горячему ветру, поворачиваю к нему то одну, то другую щеку — пусть сотрет отцовский последний поцелуй. Никогда в жизни он не целовал меня так, на людях. Поцеловал и все равно отправил.

Теперь мне свистят уже в три свистка вдоль всего перрона. Подумаешь, оркестр. Когда и отец, и Габи окончательно исчезают из виду, я с независимым видом плетусь внутрь, всячески стараясь показать, как я презираю свистки. Усаживаюсь. Хорошо, хоть в купе никого больше нет. И что теперь? Длинная-длинная, в несколько часов, дорога до Хайфы, а в конце ее — мрачный, грозный, готовый к обвинениям доктор Шмуэль Вдохновенный. Учитель, наставник, автор семи учебников по педагогике и обществоведению и по воле случая мой дядя, старший брат отца.

Я встал. Проверил, открывается ли окно. Закрыл. Повторил операцию. Открыл и снова закрыл мусорный ящик. Больше ни открыть, ни закрыть в купе было нечего. Все работает исправно. Отличный поезд, последнее слово техники.

Я влез с ногами на сиденье и ухитрился вскарабкаться на верхнюю чемоданную полку. И спустился оттуда, пригيبая голову, и проверил, не потерял ли кто-нибудь денег под скамейкой — нет, никто, ехавший здесь до меня, ничего не потерял. Аккуратные люди.

Ненавижу их обоих! И отца, и Габи. Взять и выдать меня дяде Шмуэлю, да еще когда! За неделю до бар-мицвы. И ладно бы только отец — он, понятное дело, преклоняется перед старшим братцем и верит в его педагогический дар. Но Габи? Она же сама, когда дядюшка не слышит, называет его Филином. Это и есть тот особенный подарок, который она мне обещала?

В кожаной обивке сиденья — маленькая дырочка. Я засовываю в нее палец — дырка увеличивается. Говорят, иногда в таких местах находят деньги. Но я нашел только пружины и поролон. За несколько часов можно, пожалуй, проковырять ход сквозь три вагона, раскопать себе путь к свободе, исчезнуть и вовсе не доехать до дядюшки Шмуэля Вдохновенного (в прошлом Файерберга) — а там посмотрим, сумеют ли они отправить меня во второй раз.

Но пальца на три вагона не хватает — он кончается гораздо раньше. Я ложусь на скамейку, свесив ноги. Я — узник. Меня везут к судье. Из кармана сыплются монетки, раскатываются по полу купе. Найти удастся не все.

Всякий в нашей семье хоть раз да проходил в молодости эту дядюшкину процедуру, эту жуткую церемонию, которую Габи называла «вдохновляцией». Но для меня это будет уже второй раз. История не знает еще человека, который пережил бы это дважды и остался в здравом уме. Я запрыгнул на скамейку и стал постукивать пальцами по стене вагона. А что, если в соседнем вагоне едет такой же одинокий узник, который жаждет установить контакт с товарищами по несчастью? Может, поезд битком набит несовершеннолетними преступниками и их всех везут к моему дядюшке? Я застучал уже ногой. Тут пришел проводник и прикрикнул, чтобы я сидел тихо. Я сел.

Прошлой «вдохновляции» мне хватило бы на всю оставшуюся жизнь. Это было сразу после истории с коровой Маутнера. Папин брат уединился со мной в душной комнатке и воспитывал меня аж два часа, непрерывно и без всякой жалости. Он начал беседу сдержанным шепотом, очень проникновенно, и даже назвал меня по имени, но спустя несколько минут с ним произошло то же, что и всегда, — он напрочь позабыл, где находится и с кем, и решил, видимо, что стоит на большом помосте посреди главной городской площади, а вокруг столпились знакомые и ученики, специально пришедшие засвидетельствовать ему свое почтение.

И вот теперь — снова. Без всякой причины, за здорово живешь. «Перед бар-мицвой тебе надо поговорить с дядей Шмуэлем». Это Габи сказала. Надо же, вспомнила, что у дядюшки есть имя.

Как будто я не знаю. Габи нарочно отправила меня подальше, чтобы никто не мешал ей уйти от отца.

Я встал. Постоял. Покачался из стороны в сторону. Снова сел. Нельзя было уезжать. Что я, не знаю их? Сейчас посорятся и наговорят друг другу ужасных вещей, а меня с ними не будет, и уже ничего невозможно будет исправить, и судьба моя решается прямо сейчас.

— Почему не поговорить на работе? — спрашивает отец. — Я и так опаздываю.

— Потому что на работе вечно люди кругом и всегда кто-нибудь позвонит и оборвет на полуслове, а я хочу поговорить тет-а-тет. Пойдем, сядем где-нибудь в кафе.

— В кафе? — недоумевает отец. — Средь бела дня? Настолько важное дело?

— Хватит смеяться. — Габи начинает злиться, кончик носа у нее краснеет, как всегда перед слезами.

— Если это опять о том же, — голос у отца твердеет, — забудь. С тех пор как мы говорили в последний раз, ничего не изменилось. Я по-прежнему не готов.

— Но на этот раз ты меня выслушаешь, ты дашь мне договорить. Можно ведь просто выслушать?

Они садятся в патрульную машину, отец заводит мотор. Погоны у него на плечах предостерегающе поблескивают. Лицо суровое. Габи тоже на взводе. Еще и говорить не начали — а уже поссорились. Габи достает из сумочки маленькое круглое зеркало, смотрит в него. Пытается собрать свою кудрявую гриву — кудряшек у нее целая копна. И думает про себя: «Ну и рожа, вылитая макака».

— Ничего подобного! — Я хоть и сижу в вагоне, но готов прямо сломя голову к ней броситься. Никогда не даю ей говорить о себе гадости. — И неправда, ты очень симпатичная. — Но ее это, похоже, не очень убедило, так что я добавляю: — И вообще, главное — это внутренняя красота.

— Слыхали уже, — кисло отвечает она. — Странно, что до сих пор не придумали конкурса «Мисс Внутренняя Красота». Я точно стала бы королевой.

И тут я замечаю, что стою рядом с маленьким красным рычажком. Так, зря я сюда встал. Читаю надпись на стене: стоп-кран можно дергать только в чрезвычайных ситуациях, а кто дернет за рычаг и остановит поезд просто так, с того возьмут большой штраф, а то и посадят в тюрьму. Руки начинают чесаться — и кончики пальцев, и между пальцами. Я снова читаю предупреждение — вслух, громко и отчетливо. Не помогает. Теперь уже чешутся даже ладони. Я засовываю руки в карманы. Руки тотчас вырываются наружу — кто их не знает, тот подумает: бедные невинные конечности, решили немного проветриться. Меня бросает в жар. Я хватаюсь за свою шейную цепочку. На ней висит пуля — тяжелая, прохладная, успокаивающая. «Эту пулю вынули из твоего отца, из его плеча, — молча внушаю я себе, — она не позволит тебе натворить глупостей». Но все тело уже горит.

Знаю я это чувство. И чем обычно кончается, тоже знаю. В голове уже роятся мысли: а откуда машинист догадается, в каком вагоне дернули стоп-кран? Или у него в паровозе есть такой специальный прибор? Но тогда ведь я могу дернуть здесь, а потом убежать в другой вагон. А если на рычаге найдут мои отпечатки пальцев? Значит, прежде чем дергать, надо замотать руку чем-нибудь...

Нельзя мне заводить с собой такие споры. В них я всегда проигрываю. Я напрягаю все мышцы, как отец, и стою так, напрягшись, набывчившись, и уговариваю себя успокоиться. И ничего не помогает. Во лбу уже вспыхнула красная точка, она все горячее, она одолевает меня, и в последний момент я успею согнуться, ухватиться руками за ноги и так, сложившись пополам, улечься на сиденье. Габи зовет эту позу «предварительным заключением». Для всего-то у нее есть название.

— Я уже не девочка, — говорит она сейчас отцу, сидя в кафе, — я живу с тобой и Нуну уже двенадцать лет. — Пока еще она владеет голосом и говорит спокойно и убедительно. — Двенадцать лет я ращу его, ухаживаю за вами обоими и за домом. Ни один человек во всем мире не знает тебя лучше, чем я, — и при всем этом я и в самом деле хочу быть с тобой. Не сослуживицей, не уборщицей, не поварихой — я хочу жить вместе с вами. Быть для Нуну матерью не только днем, но и ночью. Чего ты боишься, скажи на милость?

— Я еще не готов. — Отец стискивает в сильных ладонях кофейную чашку.

Габи секунду молчит и глубоко вздыхает, прежде чем продолжить:

— Я больше так не могу.

— Послушай, эээ, Габи. — Отцовский взгляд нервно мечется из стороны в сторону, не находя, на чем остановиться. — Разве мы плохо живем? Мы уже привыкли, все трое, и мальчику хорошо. С чего вдруг все менять?

— С того, что мне уже сорок, Яков, и я хочу настоящей жизни, хочу настоящую семью. — Голос у Габи начинает дрожать. — И я хочу, чтобы у нас с тобой был ребенок. Наш ребенок — твой и мой. Мне хочется посмотреть, что за человек получится из нашего союза. Если подождать еще год, мне будет уже поздно рожать. А Нуну нужна мать, которая будет с ним по-настоящему, а не на полставки!

Я могу без запинки пересказать, о чем они сейчас говорят. На мне Габи отработывала свою речь. Это я подсказал ей такую трогательную фразу: «Быть для Нуну матерью не только днем, но и ночью». И дал практический совет: не плакать. Боже упаси, только не плакать! Одна слезинка — и все пропало. Отец не выносит ее слез. Он вообще не выносит слез.

— Еще не время, эээ, Габи. — Отец бросает взгляд на часы. — Дай мне отсрочку. Это слишком серьезное решение, не дави на меня.

— Я ждала двенадцать лет. Больше я не могу.

Молчание. Он не отвечает, а у нее уже намокли глаза. Только не реви. Не реви, слышишь?!

— Яков, скажи мне сейчас прямо в глаза: да или нет?

Молчание. Пухлый подбородок дрожит. Губы кривятся. Если она рас-
плачется, она погибла. И я вместе с ней.

— И если ты скажешь «нет» — я просто уйду. И на этот раз — навег-
да! — Габи бьет кулаком по столу, слезы текут вместе с краской по круглой
веснушчатой физиономии к морщинкам около рта. Отец отворачивается к
окну, он терпеть не может, когда она плачет, а может, ему просто не нра-
вится видеть ее такой коровой зареванной.

Сейчас ее красавицей не назовешь. Это, конечно, ужасно несправедли-
во, что она совсем некрасивая. Вот был бы у нее рот маленький и аккурат-
ный, и еще брезгливый носик, тогда, может, отец бы растрогался, что она
такая хорошенькая. Бывает, что из-за одной только ямочки на щеке люди
влюбляются по уши, даже если это не Бог весть какая королева красоты.
Но когда Габи ревет, какие уж там ямочки. Никаких у нее тогда ямочек нет,
как ни прискорбно об этом сообщить.

— Ладно, мне все ясно, — всхлипывает Габи в свой красный платок,
до того служивший целям более возвышенным. — Дура я, дура, поверила,
будто ты можешь измениться.

— Тише, тише. — Отец смотрит по сторонам, не видит ли кто этого
безобразия. По мне, так пусть бы к нему повернулись все, кто за столика-
ми, а официанты и повара выбежали из кухни в своих белых передниках
с хозяином кафе во главе и столпились вокруг, взявшись за руки. Это для
него страх смертный — оказаться вот так у всех на виду.

— Эээ, Габи, послушай, — уговаривает он ее, надо же, какой он нынче
вежливый, интересно, это он из-за людей или понимает, что на этот раз все
серьезно? — Дай мне еще немного подумать, ладно?

— Подумать? А потом, когда мне будет пятьдесят, ты попросишь
подумать еще чуть-чуть? Или просто выгонишь? И кому я тогда буду
нужна? А я хочу ребенка, Яков!

Отец готов уже провалиться сквозь землю от любопытных взглядов,
но Габи гнет свое:

— Во мне столько любви, я хочу делиться ею — и с ребенком, и с
тобой! Я хорошая мать Нуну, разве нет? Пойми же и ты меня наконец!

Габи даже во время репетиции так поглощена своим горем, что забы-
вается и начинает умолять меня, будто я и в самом деле мой отец. Потом
она, конечно, спохватывается, краснеет и извиняется, что, мол, есть вещи,
которые в моем возрасте знать необязательно. Какая разница, я все равно
знаю.

То есть я, конечно, не знал, но с ними всему научишься.

Она собирает влажные салфетки, втискивает их в пепельницу. Стирает остатки краски с лица.

— Сегодня воскресенье, — говорит она срывающимся голосом. — В субботу бар-мицва. Даю тебе на размышления неделю — до утра следующего воскресенья. Решай.

— Это что, ультиматум? Такие вещи не решают за неделю, Габи! Я думал, ты умнее. — Он пытается говорить спокойно, но у глаз уже залегли нехорошие морщинки.

— Я не могу больше ждать, Яков. Двенадцать лет я была умной и в результате осталась одна. Может, дурочкой выйдет лучше.

Отец молчит. Физиономия у него краснее обычного.

— Всё, поехали на работу, — говорит она хрипло. — И кстати, если ты так ни до чего и не додумаешься, можете искать новую секретаршу. Я разорву с тобой все связи, так и знай.

— Эээ, Габи, ну послушай, — снова заводит отец. Только это и знает: «Эээ, Габи...»

— До следующего воскресенья, — отчеканивает Габи. Потом встает и выходит из кафе.

Бросает нас.

Меня бросает.

Руки и ноги не выдерживают «предварительного заключения». «Только в чрезвычайных ситуациях! Только в чрезвычайных ситуациях!» — верещат красные буквы рядом с рычажком. А я сижу в поезде, который уносит меня все дальше от моей разбитой жизни. Я зажимаю ладонями уши и кричу себе: «Амнон Файерберг! Амнон Файерберг!» Как будто это не я, а кто-то снаружи меня кричит, хочет меня предостеречь, чтоб я не трогал тормоз, кто-нибудь, отец, например, или кто-то из учителей, или великий наставник, или даже начальник тюрьмы для малолетних правонарушителей. «Амнон Файерберг! Амнон Файерберг!» Но мне уже ничего не поможет. Я один тут. Всеми покинутый. Нельзя мне было уезжать. Я должен вернуться! Вот прямо сейчас. Рука тянется к рычагу, пальцы сжимаются на нем, потому что это самая настоящая чрезвычайная ситуация.

Я уже стиснул рычаг изо всех сил, но дернуть не успел, потому что тут дверь открылась и в купе шагнули двое: полицейский и арестованный. Шагнули и уставились друг на друга, и вид у них был очень растерянный.



Глава 2

То есть это были настоящие полицейский и арестованный. Полицейский — низенький, тощий и смотрит нервно так. Арестованный повыше него и упитанный. Увидел меня, заухмылялся во весь рот и говорит: «Привет, сынок! Едешь навестить свою бабушку?»

Я не знал, можно ли по закону разговаривать с арестованными. Да и вообще — при чем тут бабушка? Я что, похож на человека, который едет к бабушке? Кто я ему, Красная Шапочка?

— Не разговаривать с заключенным! — завопил полицейский и зама-хал тощей рукой между мной и арестованным, будто между нами уже завязались какие-то ниточки и он хотел во что бы то ни стало их разорвать.

Я сел. И как мне теперь быть? Я старался не смотреть в их сторону, но, когда стараешься чего-то не делать, получается как нарочно наоборот. Они явно были чем-то встревожены, что-то им не давало покоя. Полицейский раз десять проверил билеты — свой и арестованного, и все почесывал затылок. Заключенный тоже проверил билеты и даже затылок так же поскреб. Как будто они актеры и им поручили изобразить сцену «Сомнение».

— Не понимаю, как это ты купил нам билеты не рядом? — посетовал арестованный. Полицейский пожал плечами и объяснил, что кассир продал ему такие билеты и ничего не сказал. Он-то, полицейский, был уверен,

что это соседние места, потому что как можно продать два отдельных билета «таким, как мы», — тут он помахал правой рукой в наручнике. Второй наручник был на левой руке арестованного.

Странное это было зрелище. Вдвоем они смахивали на карикатуру: арестант в полосатой блузе и полосатой шапочке, полицейский в фуражке не по размеру — она ему то и дело сползала на глаза. И так они стояли посреди вагона, покачивались в такт и совершенно не понимали, как быть. И мне от этого стало не по себе.

Сначала они попробовали сесть, как написано в билетах: арестант возле меня, а полицейский напротив, но из-за наручников им пришлось наклоняться друг к другу изо всех сил. Тогда они не сговариваясь встали и снова принялись покачиваться в такт поезду, это их как будто успокаивало, арестант почти уронил голову на плечо полицейскому, да и полицейский, похоже было, вот-вот заснет. Чего мне хотелось, так это встать и выйти, позвать взрослых, а то эти двое были совсем непохожи на взрослых, хотя они и на детей были непохожи, а на кого — этого я никак не мог понять.

Но полицейский вдруг очнулся от забытья и шепнул что-то арестанту. Я не расслышал что. Но они точно говорили обо мне, я это понял, потому что арестант покосился на меня так по-арестантски, а потом воскликнул: «Нет, нет, ни за что! У нас же есть билеты!» Полицейский попробовал его успокоить, сказал, что купе все равно почти пустое и что в особых случаях им разрешается садиться не на те места, которые обозначены в билетах. Но тот не слушал. «Во всем должен быть порядок! — вопил он. — Если даже мы не соблюдаем законы, кому же тогда их соблюдать?» Пока он возмущался и топал ногой, я заметил, что на ноге у него большое железное ядро, прямо как в книжках.

Надо валить отсюда. Ничем хорошим это не кончится.

— Никто даже внимания не обратит, если мы посидим две минуты на чужих местах, — злобно прошипел полицейский и посмотрел на меня. Ну и взгляд у него был! Лицемерный взгляд тюремщика, который, того и гляди, помрет со стыда. Потом улыбнулся так кривенько и говорит: — Малыш, ты ведь не нажалуешься на нас, правда?

Я ни слова не смог выдать, только покивал. Но про себя подумал, что «мальша» я ему при случае припомню.

И эти двое уселись с двух сторон от меня.

Целое купе было в их распоряжении, а они сели рядом со мной, один справа, другой слева! И руки в наручниках положили чуть ли не мне на колени. Мне, конечно, было не по себе. Будто они нарочно сговорились

меня пугать, причем так, не впрямую. В купе воцарилась полная тишина. Я время от времени поглядывал вниз, и каждый раз мне казалось, что это какой-то сон: аккуратно над моими коленями покачивались в такт поезду две руки, одна тощая и волосатая, вторая мускулистая и гладкая, рука закона и рука преступника — причем рука закона гораздо слабей и короче.

Я и сам не мог понять, чего я боюсь. Закон был на моей стороне, только что не облокачивался на меня, и все равно я чувствовал, что вокруг меня вот-вот сомкнется какая-то таинственная ловушка, что эти двое втягивают меня во что-то очень сомнительное.

Зато они-то совсем успокоились. Полицейский откинул голову на спинку сиденья и принялся насвистывать какой-то замысловатый мотивчик, на высоких нотах подкручивая свободной рукой усы. Арестант смотрел на пронсящиеся в окне каменистые иерусалимские склоны и тяжело вздыхал.

«Если кто-то вызывает у тебя сомнения, если ты что-то заподозрил — выждидай. Не болтай лишнего, не делай лишних движений. Дождись, пока он начнет говорить и действовать. Подготовь ему ловушку. Он должен ясно выразить свои намерения». Так учил меня отец, а уж он-то в этих делах спец. Я вдохнул поглубже. Вот она, проверка на вшивость. Ладно, я подожду. Буду вести себя как ни в чем не бывало, рано или поздно они спалются.

Я бросил взгляд налево. Потом направо. Эти двое заняты своими мыслями.

Что-то тут не так. Но что?

Надо подготовиться к встрече с дядюшкой Шмуэлем, напомнил я себе. В прошлый раз, год назад, беседа длилась два часа. Второй такой я не выдержу. Битых два часа я смотрел, как он шлепает толстыми губищами и шевелит короткими усами. Все его статьи и исследования — все они посвящены мне, ну или таким, как я. Целыми месяцами и годами он строил их в своей комнатухе. У него и на стене небось моя фотография крупным планом, с подписью «Разыскивается Министерством Образования и Воспитания», а тут — вот удача! — я сам, живьем, сваливаюсь ему прямо в лапы. Разве он такое упустит? Мне там сделалось душно, комната наполнилась невероятным количеством шлепающих толстых губ, а из них начали выскакивать все новые и новые дядюшки семейства губоцветных. Книжки и брошюры затрепыхались, шепча мое имя. Я понял, вот-вот умру от педагогической передозировки.